

Так журнал "Звезда" обозначил тему этого номера. Дотошного читателя, живущего на Западе, такой заголовок может дезориентировать, он подумает: "Значит, все здесь я знаю". Но если он откроет эту книжку журнала и перелистает ее, то обнаружит, что, кроме пяти английских эссе Бродского, переводы которых публикует журнал, кроме двух интервью — английского и польского — и стихов Дерека Уолкотта, добрая половина материалов этого номера печатается впервые. И их немало: статьи, воспоминания, интервью, стихи и даже документальная биографическая повесть. А в качестве своеобразных эпиграфов открывают книжку журнала речь Бродского в Шведской королевской академии и цикл стихов Дерека Уолкотта, посвященный памяти Бродского.

Журнал планировал опубликовать в этом номере большую поэму Бродского "Столетняя война", над которой поэт работал в 1963 году: незадолго до ареста Бродский передал рукопись своему другу Якову Гордину (ныне одному из соредкторов журнала "Звезда"). Поэма была анонсирована, но публикации воспротивилась вдова Бродского, и таким образом сложилась довольно парадоксальная ситуация: Иосиф Бродский представлен в журнале как эссеист, как собеседник интервьюеров, о его поэзии рассуждают литературоведы и культурологи, но мы не находим в журнале его стихов.

Не по своей воле составители этого номера поставили интересный эксперимент, посвятив целую книжку журналу поэту, но на 250-страничном пространстве ее не дав места его поэтическому голосу. И удивительный результат: голос Бродского не только звучит, он захватывает нас своим парадоксальным обаянием — гремучим сочетанием снобизма и непосредственности, деликатности и резкости, немислимимым синтезом интеллектуальной изощренности и жаргона советского подростка "в саржевых портах и в кепке", — заворачивает антириторическими повторами, затягивает в какие-то холодные лабиринты сознания и вдруг небрежным жестом Дедала открывает нам обратный путь, но, может случиться, бросает нас там, без спасительной нити, застывших от ужаса перед самими собой.

Голос Бродского звучит с этих журнальных страниц, и слышать его — ни с чем не сравнимое наслаждение.

Разумеется, кроме прозы самого Бродского, огромное значение здесь имеют интервью с ним: очередной фрагмент из бесед Бродского с Соломоном Волковым, перевод интервью, взятого в декабре 1979 года Свенном Биркертсом для "Paris Review", и маленькое интервью из польского журнала "Пшекруй".

Соломон Волков умеет передавать не только речь, но характер своих собеседников. Он кропотливо работает над материалом, организует и редактирует его; то, что публикует Волков, — совсем не прямое перестукивание разговора с магнитофонной пленки, а результат авторской работы, которая не только допустима, но необходима в рамках жанра, избранного Волковым.

Кто-то думает, что интервью — это дословная перепечатка вопросов и ответов в той последовательности, в какой они прозвучали во время разговора. На самом деле даже незатейливые сиюминутные газетные материалы редактируются при переводе с пленки на бумагу; первое и главное здесь — иные законы восприятия письменной и устной речи; чтобы создать у читателя иллюзию присутствия, автору интервью приходится сильно поработать с текстом магнитофонной записи. Это касается даже репортажа, озабоченного сиюминутной верностью. Но еще сложнее задача у того, кто видит собеседника в перспективе, в контексте его творчества, в контексте знаний о нем и в контексте их личных взаимоотношений, — такой автор будет пытаться создать более объемный портрет своего героя. В этом жанре и работает Соломон Волков.

Разумеется, в таком деликатном жанре автора подстерегает множество опасностей (мне случилось когда-то писать об этом, рецензируя книгу Марианны и Соломона Волковых "Иосиф Бродский в Нью-Йорке"), но зато в случае удачи и выигрыш — наш выигрыш — велик. Я лично очень высоко оцениваю работу Соломона Волкова и с нетерпением жду публикации книги его бесед с Бродским. Лет шесть назад эту книгу анонсировал "Эрмитаж", но она так и не появилась и тихо исчезла из плана издательства; теперь опять говорят, что книга Волкова "Разговоры с Бродским" готовится к печати.

В интервью Свена Биркерта, в отличие от работ Волкова, нет той перспективы и широты дыхания, но, поскольку беседу ведет человек умный, знающий и заинтересованный, материал получается острым и предлагает читателю внятный абрис характера. Однако, перечитывая сегодня этот текст по-русски, я подумал о том, что, возможно, не так уж бросается в глаза читателям метрополии, — о границах понимания.

С каждым из нас случилось, что отношения с тем или иным человеком вдруг наталкивались на пре-

## «Иосиф Бродский. Неизданное в России»

пятствие, которое можно условно назвать "неразделенный опыт".

В данном случае речь идет об опыте подсоветской жизни. Не только о допросах в КГБ (хотя кто не испытал этого, все равно никогда не поймет), не только о тюремной камере, но и о **возможности** быть допрошенным, о жизни в большой тюремной камере, или, как сказал Сахаров, в Большой Зоне, отгораживавшей колючей проволокой наш советский вольтер от остального мира.

Свен Биркертс задает вопрос об Афганистане, и Бродский отвечает:

— Пора создавать новую интернациональную бригаду. Сумели же это сделать в тридцать шестом году — отчего не попробовать сейчас? Правда, в тридцать шестом интербригаду финансировало ГПУ, советская госбезопасность. Хорошо бы в Штатах нашелся кто-нибудь с деньгами... какой-нибудь техасский миллионер, чтобы поддержать эту идею.

— А что, по-вашему, могла бы делать такая интербригада?

— Да то же в принципе, что и в Испании в тридцать шестом: оказывать сопротивление, помогать местным жителям.

Обеспечивать медицинскую помощь, заботиться о беженцах... Вот это была бы по-настоящему благородная миссия. Не то что какая-нибудь "Международная Амнистия"... Я бы сам охотно сел за руль машины Красного Креста...

— Не всегда легко провести размежевание с моральной точки зрения...

— Не знаю, каков тут требуется моральное размежевание. В Афганистане все предельно очевидно. На них напали; их хотят подчинить, поработить. Пусть афганцы племенной, отсталый народ, но разве порабощение можно выдавать за революцию?

— Я скорее имел в виду противостояние между странами.

— То есть между Россией и США? А какой тут может быть моральный выбор?

Между собеседниками возникает прозрачная, но непреодолимая стена. (О похожей ситуации Бродский рассказал в эссе "Посвящается позвоночнику".)

Кроме трех интервью с Бродским, читатель найдет в журнале два интервью о Бродском: с джазовым пианистом и поэтом Роем Фишером и с поэтом и литературоведом Львом Лосевым. Оба эти интервью провела Валентина Полукина, и они должны войти в подготовленную ею книгу "Бродский глазами современников".

Интервьюер здесь не демонстрирует литературного блеска Соломона Волкова или журналистской остроты Свена Биркерта — оба интервью суховаты, подчеркнутую академичны, поэтому, на мой взгляд, беседа с Роем Фишером вряд ли так уж будет интересна читателям, хотя, конечно, бродсковеды найдут здесь две-три любопытные детали. Иное дело разговор со Львом Лосевым. Тот, кто знает Лосева, не поверит, если я скажу, что он захватывает инициативу в этой беседе: Лосев не похож на человека, который может, позабыв себя, бороться за место у микрофона. Но беседа живет именно движением его мысли, а не усилиями интервьюера, и то, что Валентина Полукина, проявляя определенный такт или чутье, отдает ему инициативу, превращает это интервью в один из интереснейших материалов номера. Я говорю не только о фактографической ценности того, чем делится с нами один из старейших друзей Иосифа Бродского; своим рассказом он создает объемный, трехмерный портрет Бродского в атмосфере — в атмосфере Ленинграда, в атмосфере русской культуры. И то, что Лосев рассказывает о себе, о своих занятиях, — не доводок к воспоминаниям о Бродском, а система координат: чтобы понять его рассуждения о Бродском, мы должны понимать систему ценностей самого рассказчика.

Я перечислил основные материалы этого номера. Но здесь еще есть и другие моменты и соображения о Бродском старых его друзей и товарищей — Игоря Смирнова, Ларисы Степановой, Ромунаса Катилуса и Владимира Уфлянда. Есть несколько статей, среди которых я бы выделил работу Елены Петрушанской о "музыкальном словаре" Бродского и, конечно, статью Вячеслава Всеволодовича Иванова "Бродский и метафизическая поэзия"; как обычно,

профессор Иванов помещает свою тему в широчайший культурный контекст.

В журнале впервые публикуется документальная повесть Лидии Чуковской о Фриде Вигдоровой — журналистке, записавшей и затем распроставившей запись суда над Бродским.

Есть здесь и стихи, посвященные Бродскому. На одном я хотел бы специально остановиться.

Это стихотворение Александра Кушнера. Вот оно:

Я смотрел на поэта и думал: счастье,  
Что он пишет стихи, а не правит Римом,  
Потому что и то и другое властью  
Называется, и под его нажимом  
Мы б и года не прожили — всех бы в строфы  
Заключил он железные, с анжамбманом  
Жизни в сторону славы и катастрофы,  
И, тираном грозя, он и был тираном,  
А уж мне б головы не носить подавно  
За лирический дар и любовь к предметам,  
Безразличным успехам его державным  
И согретым решительно-мягким светом.

А в стихах его власть с ястребиным криком  
И презренье к двуногим, ревню к звездам,  
Забиралась мне в сердце счастливым мигом,  
Недоступным Калигулам или Грозным,  
Ослепляла меня, поднимала выше  
Облаков, до которых и сам охотник,  
Я просил его все-таки: тише, тише!  
Мою комнату, кресло и подлокотник  
Отдавай, — и любил меня и тиранил:  
Мне-то нравятся ласточки с голубою  
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний  
Край небес. Целовал меня: Бог с тобою!

Я думаю, что эти стихи повергли в недоумение многих читателей. Голос шестидесятилетнего автора приобретает здесь странную, по-детски оправдывающуюся интонацию, за которой слышится подтексты же плохо скрытое желание если не заклеить,



А. Кушнер. Фото М. Лемхина.

то как-то задеть. Задеть — кого? Стихи написаны в марте 1996 года, то есть через два месяца после смерти Бродского. Стихи удивляют полным их несоответствием тону остальных материалов, собранных под обложкой "Звезды", абсолютной, я бы сказал, их здесь неуместностью. При этом, когда я говорю о неуместности в этой журнальной книжке кушнеровского стихотворения, я на стороне редакции — она поступила правильно, напечатав его. Если Кушнер предложил эти стихи как свой отклик на смерть Бродского, у редакции не было выбора: печатать или не печатать. Александр Кушнер имеет право сказать то, что он думает и чувствует, и самостоятельно нести ответственность за сказанное.

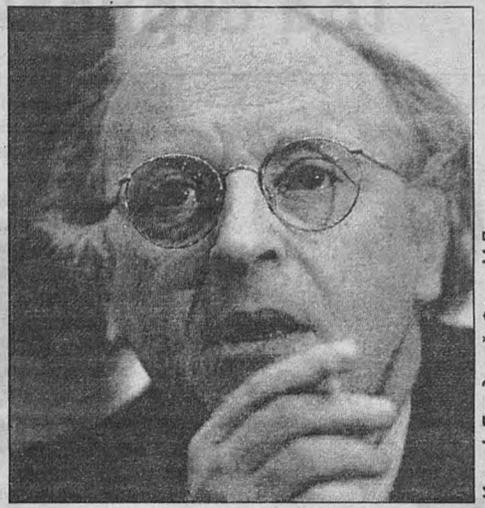
Стихи Кушнера, разумеется, возникли как ответ на посвященное А.К. стихотворение Бродского "Письмо в Оазис". Проблема только, что с ответом Александр Кушнер запоздал или, можно сказать иначе, уж очень поторопился. "Письмо в Оазис" написано в 1991 году, Кушнер, по его собственному признанию, увидел это стихотворение в конце 1993-го. Теперь стихотворение напечатано (в книге Бродского "Пейзаж с наводнением" и в 4-м томе Собрания сочинений), и его прочесть могут все:

Не надо обо мне. Не надо ни о ком.  
Забиться о себе, о всаднице матраса.  
Я был не лишним ртом, но лишним языком,  
подслеплым грызуном словарного запаса.

Теперь в твоих глазах амбарного кота,  
хранившего зерно от порчи и урона,  
читается печаль, дремавшая тогда,  
когда за мной гналась секира фараона.

С чего бы это вдруг? Серебряный висок?  
Оскомина во рту от сладостей восточных?  
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,  
пустыни талисман, в моих часах песочных.

Помол его жесток, крупницы — тяжелы,  
и кости в нем белей, чем просто перемыты.  
Но лучше грызть его, чем губы от жары  
облизывать в тени осевшей пирамиды.



Иосиф Бродский. Фото М. Лемхина.

То, что перед нами свидетельство некоего конфликта, — очевидно. Но Кушнер удивительным образом пытается свести этот конфликт в сферу почти бытовую — различие характеров, темпераментов, даже поэтических пристрастий.

Газетные страницы — не самое подходящее место для биографических, а тем более филологических изысканий — я это все пропущу и лишь пунктиром намечу проблему.

Чтобы все стало на свои места, мы должны взглянуть на "Письмо в Оазис" в соответствующем ему контексте. И здесь, конечно, первым делом нужно вспомнить стихи, написанные Бродским в 1989 году на столетие Анны Ахматовой.

Страницу и огонь, зерно и жернова,  
секиры острые и усеченный волос —  
Бог сохраняет все; особенно — слова  
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен  
костный хруст,  
и заступ в них стучит. Ровны и глуховаты,  
затем что жизнь — одна, они из смертных уст  
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря  
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,  
что спит в родной земле, тебе благодаря  
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Положив рядом два стихотворения Бродского, мы заметим не только их метрическое сходство и множество лексических пересечений — весь образный строй этих стихов подсказывает нам, что вышли они из одного гнезда.

Это стихи о роли и месте поэта. Стихи удивляют полным их несоответствием тону остальных материалов, собранных под обложкой "Звезды", абсолютной,

я бы сказал, их здесь неуместностью. При этом, когда я говорю о неуместности в этой журнальной книжке кушнеровского стихотворения, я на стороне редакции — она поступила правильно, напечатав его. Если Кушнер предложил эти стихи как свой отклик на смерть Бродского, у редакции не было выбора: печатать или не печатать. Александр Кушнер имеет право сказать то, что он думает и чувствует, и самостоятельно нести ответственность за сказанное.

Стихи Кушнера, разумеется, возникли как ответ на посвященное А.К. стихотворение Бродского "Письмо в Оазис". Проблема только, что с ответом Александр Кушнер запоздал или, можно сказать иначе, уж очень поторопился. "Письмо в Оазис" написано в 1991 году, Кушнер, по его собственному признанию, увидел это стихотворение в конце 1993-го. Теперь стихотворение напечатано (в книге Бродского "Пейзаж с наводнением" и в 4-м томе Собрания сочинений), и его прочесть могут все:

Не надо обо мне. Не надо ни о ком.  
Забиться о себе, о всаднице матраса.  
Я был не лишним ртом, но лишним языком,  
подслеплым грызуном словарного запаса.

Теперь в твоих глазах амбарного кота,  
хранившего зерно от порчи и урона,  
читается печаль, дремавшая тогда,  
когда за мной гналась секира фараона.

С чего бы это вдруг? Серебряный висок?  
Оскомина во рту от сладостей восточных?  
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,  
пустыни талисман, в моих часах песочных.

Помол его жесток, крупницы — тяжелы,  
и кости в нем белей, чем просто перемыты.  
Но лучше грызть его, чем губы от жары  
облизывать в тени осевшей пирамиды.

Теперь в твоих глазах амбарного кота,  
хранившего зерно от порчи и урона,  
читается печаль, дремавшая тогда,  
когда за мной гналась секира фараона.

С чего бы это вдруг? Серебряный висок?  
Оскомина во рту от сладостей восточных?  
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,  
пустыни талисман, в моих часах песочных.

Помол его жесток, крупницы — тяжелы,  
и кости в нем белей, чем просто перемыты.  
Но лучше грызть его, чем губы от жары  
облизывать в тени осевшей пирамиды.

Помол его жесток, крупницы — тяжелы,  
и кости в нем белей, чем просто перемыты.  
Но лучше грызть его, чем губы от жары  
облизывать в тени осевшей пирамиды.